

Ирина
ИВАСЬКОВА

г. Анапа

ШУРОЧКА

рассказ

*Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескучеющая сила,
Есть и нетленная краса.*

Фёдор Тютчев



«...И мне тогда в голове представление сделалось: будто смотрю я с высоты на город, а кругом ночь, только огни внизу горят жёлтые. А мимо огней, прямо из домов, будто нитки голубые вверх тянутся. Тонкие такие, дрожащие, светлые ниточки, как молнии электрические. А я на них смотрю и понимаю, что это молитвы человечьи светятся, улетают из ночных домов на небо, а там уж, сами понимаете, по назначению. И мне так легко стало тогда, ну, думаю, не пропадём — ниток-то много, усердное такое плетение...»

— Записала, Шура? — спросила Мила и откашлялась. — Много вышло сегодня?

— Всё записала, тёть Мил. Две страницы. Я побегу, ладно? Мне к подруге надо.

— Ну беги, беги. На обратке хлеба купишь и поздно не приходи, нечего шлаться, грязь такая. Давай сюда тетрадь.

Мила бережно взяла протянутую Шурой толстую тетрадку и спрятала её под подушку — огромную, твердокаменную, в блёклых ситцевых цветках.

Шура давно уже уговаривала тётку сменить подушку на лёгкую, мягкую — этим невесомым турецким добром, набитым меленькими синтетическими шариками, уже обзавелась каждая семья. Но Мила наотрез отказывалась — ни соображения удобства, ни гипотетические бельевые клещи её не пугали.

— Мать моя в неё плакала! И я буду! — сердилась она и впрямь принималась рыдать, вспоминая ушедшее в прошлое столетие детство и своих давно сгинувших родных — кого войной съело, кого государством или болезнями. Шура видела тёткину семью на фотографиях — тающие, прячущиеся в тёплом тумане лица с нездешними глазами и пушистыми причёсками. Все Милены родственники были куд-

рявыми: и мужчины, и женщины, и сама она всю жизнь сражалась с непослушными мелко пушащимися прядками.

Семейные снимки тоже жили под её подушкой в альбоме зелёного бархата, аккуратно подписанные и заправленные в прорези на картонных страницах. Чернила бледнели, всё глубже впитывались в картон, но ещё можно было разобрать имена и фамилии, даты и города — то забытое, потерянное, не нужное никому.

Мила появлялась в альбоме ближе к последним страницам — сначала младенцем, потом девчонкой с острыми коленками, а затем взрослой девушкой, по тогдашней фотографической моде кокетливо тянущей к лицу цветущие ветки. Шура всегда любовалась молодым тёткиным лицом: щёки круглые, нежные и лоб невинный под воздушным облаком светлых волос.

Мила уgomонилась, улеглась, выпростав руки поверх одеяла и по-старушечьи вздыхая.

— Беги, беги, — повторила она, — завтра ещё попишем, поторопиться бы надо.

На самом деле тётка совсем не была старой — ей лишь недавно исполнилось шестьдесят, а сил и бодрости в её крепком теле оставалось в избытке. Отпраздновав юбилей и покинув замшелый коллектив полуброшенного дамского ателье, Мила постепенно тронулась умом — то ли от никогда не виданного безделья, то ли под воздействием многочисленных газет и журналов о духовном поиске и иных мирах. Этими периодическими изданиями на плохой бумаге, призывавшими людей прозреть и присоединиться к энергетическим потокам, Мила увлеклась ещё в конце девяностых, когда на душе было особенно пусто и темно. Бессмысленные тексты, яркие картинки с космическими пейзажами и огромными руками, держащими планеты в горсти, — журнальная муть эзотерических вод нарушила хрупкое тёткино сознание, и без того омрачённое семейными бедами, собственным одиночеством и страшной, но из всех сил скрываемой нищетой.

Сумасшествие Милино вышло неопасное — с таким, в общем-то, и к врачам не идут. Несколько смущаясь, тётка сообщила, что стала теперь небесным проводником и будет писать

книгу для несчастных, утонувших в незнании землян. Религия Милина с трудом поддавалась идентификации — карма в ней мирно соседствовала с Христом, а волны энергии распределялись по планете архангелами — крылатыми, но при этом ещё и многорукими.

Впрочем, вникать в суть этого красочного бреда было некому — Шура тогда ещё жила с мамой, подруг у Милы не водилось, а проповедовать на улице она боялась. Но ценность обрётённого знания не давала тётке покоя — так и пришла она к мысли о книге, способной озарить и спасти жизни глупых, несчастных, тёмных людей.

Первые пятнадцать тетрадей Мила исписала сама и останавливаться не собиралась. Но притормозить пришлось — обострился артрит, мучивший её ещё в годы работы швейей. Милина сестра, Шурина мама, помогать отказалась наотрез, и Шуре, до слёз стыдившейся тётки и до слёз же любившей её, пришлось брать судьбу человечества в свои руки. Мила плакала и благодарила, и клялась — пара недель диктовок, не больше.

С тех пор прошло пять лет — исписанные тетради множились, разум к Миле не возвращался, Шурина мама умерла, а сама Шура поселилась у тётки в крохотной двухкомнатной квартирке, выходившей окнами на центральную улицу города. И днём, и ночью мимо дома неслась городская жизнь — плотно прижатые к асфальту автомобили, сверкающие серебром мотоциклы, шумные до боли, быстрые до смерти. Шура слушала дрожание стёкол и думала о себе — много думала.

* * *

Быстро темнело. Прогрнув на остановке, Шура с радостью увидела долгожданный автобус, светящийся изнутри ласково и жёлто. Поднявшись по облитым безнадёжной осенней грязью ступенькам, она сняла рюкзак с плеча и пробралась к задним сиденьям сквозь путаницу чужих ног, сумок и голосов. Уселась, перевела дыхание и вдруг, будто кипятком, обожглась знакомым лицом. Аркашка сидел напротив, закрыв глаза. Белые про-

водки наушников, как всегда перепутанные между собой, прятались под светлыми волосами, отправляли в его прекрасную голову музыку, перемешивались с неизвестными Шура мыслями. «Хотя что тут неизвестного — знаю, всё знаю», — подумала Шура и, как всегда, захотела плакать. Потом толкнула Аркашку коленкой — раз и ещё раз. Он приоткрыл глаза, прищурился:

— О, Шурка, — и вытащил один наушник. Протянул его Шура и снова закрыл глаза. Проводок был коротковат, и ей пришлось наклониться вперёд. Неудобно, но зато, зато!.. Целых двадцать минут они смогут быть чем-то целым, пусть соединённым лишь тонкой пластиковой ниткой и пунктирами звуков.

— Как хорошо, что мы встретились, правда? — спросила она Аркашу позже, когда они вышли на нужной им остановке и пошли рядом по изломанному полотну асфальтовой дорожки.

Он молчал.

— Мне страшновато всё-таки одной поздно ходить, фонари не горят, всегда темно, — упрямо продолжала она.

Аркашка снова ничего не ответил.

— Даже юбку никогда не надеваю, всё джинсы, джинсы, — в отчаянии сказала Шура. — А с тобой я бы в самом коротком платье пошла и мне было бы не страшно.

Ей было ужасно стыдно от своих слов, а Аркашка молчал и молчал.

Она почти со слезами заглянула в его лицо и только тут заметила, что он снова в наушниках. И когда успел нацепить — непонятно.

Асфальтовая дорожка кончилась, сменилась гравийной, а потом и узкой земляной тропинкой, ведущей к старой пятиэтажке, потерявшей свою непрочную штукатурную корочку ещё лет тридцать назад.

Шура раньше всегда удивлялась, как это Катька умудряется выбираться отсюда в город такой свежей и сияющей, словно бы свежewe-мытой. Это ж уму непостижимо! Каждый день по грязи до остановки, а — гляди ты! — вся сверкает, и даже туфельки чистые, не ободранные. Впрочем, потом Шура углядела в Катькиной сумочке пакетик с медицинскими бахилами, и всё стало ясно. Катька вообще многое пыталась скрывать, но получалось у

неё неважно. Вот и сейчас, поднявшись на второй этаж к двери её квартиры, Шура услышала Катькин крик.

— Да ты всю жизнь мне портишь! Пошла ты со своими коробками, сама принесла, сама и уноси!

Катькина мать, сухонькая, коротко стриженная женщина, очень хотела счастья. Счастье же, напротив, её никак не хотело и пряталось от неё очень старательно и упрямо. Мужья рядом не задерживались, работы терялись, здоровье подводило — всю жизнь она страдала от пренеприятных женских болезней, частичного облысения и крошащихся, как мел, зубов. Но самой главной её проблемой был неисправимый оптимизм — отчего-то эта женщина, прожившая полвека в ободранной хрущёвке, познавшая все ужасы советской, а затем и российской бесплатной гинекологии, никогда не евшая вкусно и не высыпавшаяся досыта, всегда верила в чудо.

Сейчас её спасительной мечтой была косметика, распространяемая по каталогам и обещающая своим покупательницам не только мгновенную и неувядаемую красоту, но и стремительное обогащение.

По утрам Катькина мать старательно красилась, покрывая сухую, в мелких морщинках кожу густым тональным кремом, накладывая румяна и тени, помаду и тушь. Взбодрившись пролистыванием каталога и привычно полюбовавшись выглаженными моделями — одна в сверкающей ванне, другая — на солнечном семейном пикнике, третья — перед первым свиданием, — Катькина мать паковала сумки, взбиралась на каблуки и устремлялась вперёд.

Поскольку марафет наводился в полутьме, а волшебная косметика на деле была редкостной гадостью, при ярком свете дня лицо Катькиной матери выглядело несколько устрашающе. Но она не теряла энтузиазма и бегала вприпрыжку по этажам офисных зданий, заглядывая в кабинеты и заманчиво потряхивая образцами товаров, каталогами, сувенирами и прочей дребеденью. Офисные труженицы испуганно отмахивались, но, сражённые напором или скорее испуганные внешностью посетительницы, иногда покупали что-нибудь мелкое вроде лака для ногтей или заколки.

Катка наотрез отказывалась присоединиться к маме на этом многотрудном пути к финансовому благополучию. Яркие каталоги с твёрдыми гарантиями счастья её тоже не привлекали: она была красавицей и без специальных отвлекающих приёмов. Однако мать настаивала — и каждый вечер крохотная квартирка на самом краю города сотрясалась от ссор.

— Опять орут, — констатировал Аркашка, вынув наконец наушники. — Подольше звони, Шурка, а то не услышат.

В паузе между криками Шура нажала на кнопку звонка и в который раз подумала: «Зачем я сюда пришла?» Дверь открыла Катка, ещё не отдышавшись после крика, закатила глаза при виде гостей, но шагнула назад, вроде как разрешая войти.

Аркашка был влюблён в Катку так сильно, что терял всякий человеческий облик в её присутствии. Шура любила Аркашку — до остановки дыхания и мерцающего сознания. А Катка вроде как никого не любила — она мечтала просто выбраться отсюда куда-нибудь подальше, чтобы не видеть никогда зассанной маминым котом ванной, выцветшего линолеума, верёвок с сохнувшими тряпками — всего этого тихого, тусклого, вечного жизненного добра.

— Шурочка, загляни потом ко мне, — крикнула Каткина мать из кухни, стараясь сделать радостный голос, — поступление чудесных лаков!

— Хорошо, — ответила Шура куда-то в глубины узкого коридора, — обязательно.

— Ну как ты, Кат? — спросил Аркаша, и голос его вдруг стал похож на желе.

— А тебе какое дело, а? — ответила Катка.

— Да я так, просто спросил... Слышу, что ругались вы, — смутился Аркаша.

— А нечего подслушивать! — Катка явно была раздражена до предела. — И вообще, скажите мне, чего вы пришли, а? Вчера приходили и сегодня, и на той неделе таскались! Я вам что, развлечение, что ли?

Катка остановилась перед своей комнатой и повернулась к гостям.

— Идите отсюда, вот что! Надоели! Как вы мне все надоели! Видеть вас не хочу, никого, никогда! — поразительное дело, но Катка оставалась красавицей, даже когда кричала.

Шура пожала плечами и пошла обратно. Аркашка плёлся следом.

— Шурочка, Шурочка, подожди! — Каткина мать стремительно выскочила из темноты, укутанная в облако отвратительно сладких духов, и сунула Шуре в ладонь маленькую твёрдую коробочку. — Как сможешь — рассчитаешься! — а потом вытолкнула гостей на площадку и захлопнула дверь.

Домой Шуре возвращаться не хотелось. Было не слишком поздно, Мила наверняка не спала и вполне могла решиться на ещё один сеанс диктовки. Аркашка мялся у подъезда с таким лицом, словно не мог выбрать, пойти ли ему улечься у Каткиной квартиры вместо коврика или бежать отсюда со всех ног в неведомом направлении, оглашая темнеющие окрестности плачем и стенаниями.

Постояв минутку, он вроде пришел в себя, посмотрел на Шуру и неуверенно улыбнулся:

— Едем обратно?

В автобусе Аркашка забился в угол и опять закрыл глаза. Наушниками с Шурой делиться не стал. А Шура всё смотрела в его лицо и думала: хоть бы на минутку стать Каткой, хоть бы на секундочку. Потом вдруг вспомнила про коробочку — до сих пор сжимала её в кулаке, — и открыла, основательно поборовшись со скотчем и клеем. Внутри был лак — ядовиторозовый, с блёстками.

Перед своей остановкой Шура коснулась Аркашкиной руки, чтобы попрощаться, но он вдруг схватил её за рукав и спросил:

— Ко мне пойдёшь? У меня родители уехали.

Шура кивнула.

У Аркаши в гостях она ещё не была ни разу. Знала, что живёт он с родителями недалеко от центра города в хорошей новостройке. И вообще, жизнь у него вся была хорошая, устроенная — Шуре такое и не снилось. Ни сумасшедшей родни, ни нищеты. Если бы он не встретил Катку, так и жил бы себе спокойно, по-писаному. Раз в год — в отпуск всей семьёй, дни рождения в кафе, мама улыбается по утрам, папа руку жмёт: «Молодец, сынок, весь в меня!» Нахватавшись по отрывочным Аркашкиным рассказам представления о чужой жизни, Шура рисовала себе светлые солнечные картинки, страшно далёкие,

недоступные ей никогда. Больше всего отчего-то впечатляли ежегодные поездки к морю — эта никогда не виданная Шурой диковина представлялась ей чем-то огромным, мягким, сияющим, как плавленное золото. Ей так и хотелось сказать Аркашке: «Эх ты, ты же море видел! Что тебе эта Катька?» Хотя Катька и была как море. Даже Шура это понимала — какая она была прекрасная.

Аркашка убежал на кухню ставить чайник — замерз ужасно, ведь одет вечно кое-как: курточка, кедик и никаких шапок. А Шура, затаив дыхание, стояла в его комнате, оглядывалась кругом и удивлялась: точно как в рекламном каталоге, шторы к ковру подобраны, а шкафчики — к кровати. Картинки висят. Зеркало большое, как для девчонки.

Шура подошла к оправленному в тонкую стальную рамку зеркальному полотну и внимательно взгляделась в своё отражение. А ведь что такого в этой Катьке невероятного: нос, губы, глаза — всё как у всех. Волосы длинные, ну так их отрастить можно. Правда, Катька даже двигалась как-то по-особенному — так, что не поймёшь, то ли танцует, то ли идёт просто. Шура попыталась повторить плавные Катькины повороты, выпятила губы, изогнула спину и вытянула шею, отчего стала похожа на пухленького, но очень грустного гусёнка.

— Ты чего кривляешься тут? Живот, что ли, болит? — Аркашка вошел в комнату и засмеялся. — Забавная ты, Шурка! Пойдем на кухню.

За чаем Аркашка стал серьезным, задумался. Бултыхал, бултыхал ложкой в кружке, а потом решил:

— Шурка, мне тебе кое-что сказать надо. Ты и не знаешь, я никому ещё не говорил, но, кажется, я очень Катю люблю. Наверное, даже и не кажется. Точно люблю.

Шура мысленно закатила глаза — как Катька при виде незваных гостей, но вслух удивилась:

— Да ты что? Правда? Никогда бы не подумала. Аркашка повеселел:

— Ну да! А зачем, по-твоему, я каждый день таскаюсь в ту дыру? Думаешь, мне так нравится с тобой по автобусам болтаться?

Шура ничего не ответила, но внутри у неё стало гулко и пусто, как в ночной подворотне.

— Я вот что, Шур, хочу у тебя попросить, —

продолжил Аркашка. — Ты же вроде как друг мне, да? Не ходи пока к Кате, а? Я один хочу к ней прийти, вдруг она захочет меня выслушать, как думаешь? Она, наверное, сегодня расписывалась из-за тебя, а если бы я один пришёл, всё было бы по-другому. Ты не ходи пока, я прошу тебя, ну что тебе стоит? Дома посиди, погуляй там, с другими подружками повстречайся, туда-сюда...

Шурка слушала смущённое Аркашкино бормотание вполуха — как далёкое радио, которое шумит где-то там, за пределами видимости, старается для никого. Отчего-то вспомнились ей сегодняшние утренние мысли — потешные такие. Она проснулась и стала вдруг думать про японского императора — его недавно по телевизору показывали, как он с женой под цветущими деревьями прогуливался. Маленький такой, аккуратный, худенький. И жена такая же, в шляпке. Они были похожи на фарфоровых куколок и почему-то взволновали Шуру почти до слёз своей хрупкостью и улыбками. И вот она утром думала: хорошо бы, если б Аркашка и был японский император, а она — его жена. Чтобы они прожили вместе уже полвека и никаких не было б неразрешимых проблем: ни ледяных автобусов, ни Катьки этой, ни Милы с её тетрадками — ничего, только лепестки, старость, тишина.

Ей вдруг стало совершенно всё равно. Императором Аркашка не станет, пойдёт завтра к Катьке, получит от неё по полной и станет безнадёжный совсем — Шура очень хорошо представила его опрокинутое лицо. А может, и наоборот, получится. Вдруг Катька только и ждет его одного — без липучей подружки?..

И ей настолько стало всё равно, что она отодвинула чашку и сказала:

— Ладно. Не буду к Катьке ездить. Вот поцелуешь меня — вообще ни разу у неё не появлюсь.

Аркашка от неожиданности чуть не поперхнулся:

— В смысле — «поцелуешь»? Ты чего, Шурка?

— В прямом. Поцелуй меня по-настоящему, и я уйду, не буду тебе мешать. И к Катькиному дому даже близко не подойду.

— Ну, хорошо, — растерянно пробормотал Аркашка. — Давай так.

Он встал, и Шура поднялась со стула. Подошла к нему близко-близко, так, что его удивлённые глаза стали огромными, на весь мир. Потом прижалась губами к его губам и долго, целых три секунды, совершенно ни о чём не думала. А потом ушла, как и обещала.

* * *

«...**А** про любовь архангелы вот что говорят: когда человек любит, его кровь становится сладкой и тягучей, как мёд. От того, что кровь сладкая и густая, человеку дышать становится тяжело, и он пугается даже сначала. Но пугаться тут нечего — любовь никому вреда причинить не может. Архангел одной рукой человеку любовь протягивает, второй — радость, третьей — терпение, а четвёртой — надежду. А человек часто только одно берёт, а другого не замечает. Вот и мучается потом, чувствует, что не хватает чего-то, а поздно. Ещё раз таких подарков уже не получить, как ни старайся...»

Мила закрыла глаза и помолчала, а потом вздохнула:

— Ты беги, Шурочка, тебе к подруге, видеть, надо. Беги, уже неделю дома сидишь. А я устала чего-то.

— Нет, тётъ Мил. Я дома сегодня буду. И завтра, наверное, тоже, — ответила Шура и покосилась в угол тёткиной комнаты — там стоял красочный плакат, сооруженный Милой из подручных материалов — лоскутков тканей, кальки и длинной линейки закройщика.

На плакате Мила, применив все свои портновские навыки, постаралась изобразить лик — чей уж, только её душе ведомо. Образ получился странный: яркие губы, румянец, синие веки. Лоскутное лицо чем-то смахивало на Катькину мать — и от этого Шуре было совсем неудобно. Завтра Мила собиралась идти к людям — она вдруг решила, что её писательство делу спасения мира помогает слабо, и планировала расположиться со своим плакатом возле местного супермаркета, а там уже и преподнести народу всё, в чём он, болезный, нуждается.

Думать о завтрашнем дне Шуре не хотелось

— лучше сделать вид, что он никогда не наступит, и просто остаться дома, в мягкой тишине маленьких тёмных комнат. Чаю попить, на улицу посмотреть — на бегущие во все стороны огни, на прозрачные золотые окна в доме напротив. Завтра Шуре придётся пойти к супермаркету вместе с тёткой — удержать ту дома не было никакой возможности, а отпускать одну — страшно. Шура пыталась представить себе, чем может закончиться подобная проповедь. Милицией? Скорой? Побоеванием камнями? Равнодушие, пришедшее к ней после Аркашиного признания, не собиралось уходить, и даже память о самом первом, самом сказочном поцелуе, полученном в обмен на расставание, уже не грела её сердце.

Вечер казался вечным — темнота владела небом, улицей, домом, и даже всегда раздраженные мотоциклисты отменили на сегодня свои бесконечные бега. Мила уснула, крепко обняв каменную подушку и охраняя спрятанные под ней сокровища. А потом у Шуры кончился чай и конфеты кончились, а утро — началось.

* * *

У супермаркета всегда играет музыка: в любую погоду — и в дождь, и в солнце. Бодренькие, никому не известные мелодии, вроде как стимулирующие на немедленное и очень полезное приобретение. Утренние посетители вяло плетутся за будущим блаженством, ещё помня вчерашнюю подаренную «телевизорной» рекламой надежду — начини день с покупки и будь уже наконец счастлив, дурачок. В магазине тепло и светло — здесь назначаются свидания, совершаются мелкие сделки и греются замёрзшие влюбленные, которым осенним утром совершенно некуда податься.

Мила экипировалась по полной — пакеты с мелко исписанными тетрадкарами, тёплый платок для согрева и плакат с не известным религиозоведам ликом. Вручив пакеты Шуре, Мила укуталась поплотнее — утро выдалось на редкость зябкое, выпрямилась во весь свой незначительный рост и начала говорить:

— А больше всего оберегаться надо от жестокости — не может она быть главной в челове-

ческом сознании. Архангелы грустят над этой человеческой выдумкой — естественным отбором. Глупости это, заблуждение. Не может борьба и победа над слабым быть самой важной в человеческой жизни. Внутри у человека такая хрупкость, такая нежность, что-то вроде перышка или одуванчика — ну не может появиться в людях такая вещь только потому, что когда-то кто-то кого-то победил или убил, унизил по-всякому.

Мила говорила тихо. Никто её не слышал — даже Шура, сидевшая на скамейке совсем рядом с тёткой.

Люди шли мимо, мельком косились на очередную полоумную — в большом городе таких пруд пруди, на всех и взглядов не напасёшься. Магазиновая музыка заиграла ещё громче, двери гостеприимно сдвигались и раздвигались, как прозрачные ненасытные челюсти. Мила бормотала что-то всё быстрее — и со стороны казалось, что она просто подпевает беспечным музыкальным мотивам.

— Шурочка! Ты чего здесь? Ждёшь кого-то? — Шура даже вздрогнула от неожиданного, как всегда деланно весёлого голоса — Катькина мать стояла рядом и растягивала в улыбке ярко раскрашенные губы.

— Нет. Я с тёткой, — ответила Шура и кивнула в сторону плавно размахивающей плакатом Милы. Врать и оправдываться не хотелось — пусть видит.

— А-а, — коротко протянула Катькина мать, — дочка говорила, что родственница у тебя того... странная.

Она поставила свои тяжёлые сумки на скамейку около Шуры и подошла поближе к Миле — та продолжала свой еле слышный разговор:

— ...А у нас как получается? У человека вроде как задача поставлена — стать сильнее, чтобы больше трудностей вынести. А чем сильнее человек, тем больше трудностей и борьбы у него, словно бы специально. И он борется, старается и потом даже радость от этого начинает получать — от победы над ближним. Только сама по себе борьба — это жестокость. И ещё вот что: неразумные считают, если какое-то свойство человеку не нужно, то оно само по себе отваливается вроде хвоста. Так отчего тогда не

отвалились сострадание, сочувствие, жалость? Они ведь только мешают, если ты в естественном отборе участвуешь, выживаешь. Почему нежность в людях осталась, смущение или раскаяние?

Катькина мать слушала Милу внимательно, и лицо её, обычно удерживаемое усилием воли в выражении фальшивого восторга, расслабилось, смягчалось и словно бы сползло вниз.

— ...Архангелы жалеют неразумных, потому что нет жестокости в изначальном человеке. Будьте как свет, жалейте друг друга, ведь даже архангелы не помогут, если в сердце, кроме зла, ничего не растёт. Будете тратить свою жизнь на бессмысленный бег вперёд, будете топтать ближнего — прибежите в пустоту. И любви не жалейте, и не пугайтесь, берите её всю, вместе со всем, что к ней приложено — боль так боль, страдание так страдание.

Катькина мать подошла к Миле совсем близко, взяла из её рук плакат и подняла повыше, чтобы всем было видно. Она кивала головой и чуть приплясывала на месте — то ли от холода, то ли от радости. К неожиданным проповедникам, отодвигая прохожих, уже направлялись четверо охранников супермаркета, полнотелые, ленивые, предвкушающие развлечение. Шура встала, потом снова села, чувствуя себя совершенно беспомощной и бесполезной.

Охранники почти ласково подхватили женщин под руки и увели внутрь магазина, в самую глубину непрерывно работающих челюстей-дверей.

И тут только Шура заметила парочку, стоящую неподалёку и внимательно наблюдающую за происходящим. Аркаша и Катя держались за руки, точнее вращали ладонями друг в друга — как молодые деревья, по недосмотру садовника посаженные слишком близко и теперь переплетающиеся ветвями, корнями и всем, чем вообще можно переплестись.

Постояв минутку, глядя на Шуру с благодарностью и стыдом, они отвернулись от неё и ушли — подальше от навязчивой музыки, магазинной толпы, сумок с косметической дрянью и тетрадок, плотно набитых словами о счастье и нелёгком пути к нему.



Это дрянной городишко, мелкий. Хотя и при море, но тоскливый. Туристов не водится, а угрюмые местные экономят воду и старательно продают друг другу кислые червивые яблоки.

Из всех красот только валуны на морском берегу и косой домик с табличкой — когда-то в нём несколько недель прожил то ли поэт, то ли писатель — фамилию его каждый знает: ну как же, наследие, глыба — щёлкаем пальцами — эти-то, бессмертные строки: «Скажи мне...» или там «Кто же ты...», а нет — «Покрыты мглою эти грёзы...» Надо будет перечесть. На досуге как-нибудь.

За скользкими неудобными камнями прячется море. Правда, купаться здесь мало кто любит — ноги переломаешь, пока окунёшься. И ни один страждущий славы археолог ещё не открыл этих мест, покрытых древней кровью и усыпанных осколками чих-то жизней — гордые, полуголые, черноволосые и прекрасные люди тысячетней давности окунали в эти воды смуглые руки, пили густое вино и собирали те же яблоки — неизвестно, водились ли тогда во фруктах червяки. Глиняные черепки и изъеденные солёной водой неопознанные штуковины местные равнодушно швыряют обратно в море, и тяжёлые волны словножимают плечами — не берёте и не надо, не очень-то и хотелось.

Ах да, есть в городе ещё одна примечательность — дурная Верка, которой когда-то приснилось, что она замужем за морем. Девчонкой она была самой обычной, росла тихо — школа, братья, плохая обувь, телевизор по вечерам. Вошла в пору, отрастила грудь и чёлку, обозначила талию тонким пояском, слушала, как гудит и греется где-то внутри сочная юность, танцевала некрасиво, как все.

Тот самый сон приснился ей поздней осенью,

когда волны пощёчинами, наотмашь колотили прибрежные камни. Верку в тот день занесло на побережье — то ли уроки прогуливала, то ли пряталась от братьев. Устроившись между двумя валунами, она тряслась от холода, наблюдая за дракой воды и ветра, и вдруг особо рьяная волна вынесла вперёд и аккуратно отпустила на гальку тёмный предмет, похожий на подгоревший и подгрызенный мышью рогалик.

Вера принесла находку домой, но показывать никому не стала — страшно болела голова, тошнило и хотелось спать. Но уснуть не могла, всё крутилась — душно, душно, лоб пылает, а ноги отчего-то ледяные. Морской подарок лежал у подушки — когда-то он плотно охватывал женское предплечье и отражал в своём золотом боку горячие солнечные лучи, а после — ничего, только долгие, тёмные, солёные столетия.

Потом Вера уснула. Ей приснились поющие волны, плотное и нежное морское тело, всесильное, вечное и равнодушное. Веру качало и несло, тысячи голосов баюкали её давно забытыми колыбельными, воскресали звуки и запахи, струились ткани и звенели монеты, где-то плакал младенец, ругался мужчина, и едкая соль морской воды высыхала на губах. Потом холод и соль пропали, пришло тепло, просочилось сквозь кожу, пропитало сердце и лёгкие, и Вера ясно поняла, что перестала быть человеком, а стала морем, частью его, возлюбленной и дочерью, хозяйкой и рабыней. Объяснить это она бы не смогла — да и кому нужны были эти объяснения?

Болела Вера долго, месяца четыре, кашляла так страшно, что мать боялась — помрёт.

Но Верка выздоровела и весной появилась на улице в старом синем платье без рукавов. Мать и братья почти не разговаривали с ней с тех пор, как она рассказала им, что собирается замуж за

море, а подарок от жениха отобрали и выкинули. Её драли ремнём, поили пустырником и снова драли. Потом махнули рукой — пусть. Четыре мужика в доме растут, не до того.

Худая, обгоревшая и стриженная почти налысо Вера дни напролёт бродила по берегу. Воды не касалась — неприлично, без приглашения. Удивительно тихое тогда выдалось лето, тёплые дожди, ни штормов, ни волн, а только лёгкая сияющая рябь, слепящие блики, чаячья радость.

Вечерами Веру уводили домой — мать или младший брат — старшие стеснялись.

Хорошая гроза пришла только в конце лета, ветер рвал бельё с верёвок, сшибал с ветвей яблоки и обещал ливень. Брат побежал за Верой пораньше и успел увидеть, как радостно бросалась она в жестокие волны, навстречу пенным кольцам — наконец-то её позвали, дождалась, дождалась! И пели трубы морских царей, и рыбы выстраивались в свадебный кортеж, свивая мантии из водорослей, складывая дворцы из корабельных остовов — как же манят бесконечные глубины вечной жизни и любви, и нет, и не может быть небытия — ни для кого, никогда.

Выловив Веру, брат отнес её домой на руках — живую, плакал и матерился, и всё удивлялся, каким лёгким стало её тело, словно потерявшее земную тяжесть и плывущее в солёной воде.

* * *

Ближе к полуночи мать выключает телевизор и укладывает Веру спать. В доме тихо и пусто — братья давно выросли и разъехались — работают где-то, женятся и не пишут отчего-то совсем.

— Пойдём, пойдём, завтра, а как же, — отвечает мать на Верин вопросительный взгляд, и дочь улыбается ей ласково и бессмысленно. Вера засыпает быстро, а мать от бессонницы читает местную газету — на последней страничке стихи.

— Ну, загибает, — бормочет мать себе под нос, — прям как наш, этот, — и кивает в сторону чернильного квадрата окна, усталого сада, пустой улицы и холодного домика на чёрном берегу, где всего лишь сотню лет назад горела свеча и сыпались мелким горошком на бумагу ровные и чистые слова.

Чайка!

Чайка!

Я Байкал!

рассказ

Тётя Оля сидит на траве и плачет. Мама неловко похлопывает её по плечу, но мне сразу понятно — не жалеет по-настоящему. Если по правде жалко — обнимают и гладят по волосам, и так по-особенному складывают губы трубочкой: «Ну что ты, что... Всё пройдет через пять минуток!» А мама молчит и только поглядывает на дядю Андрея с неодобрением.

Мне он тоже не нравится — у него усы. Зачем ему усы? Так некрасиво. И вообще, они старые — эти Оля и Андрей, им, наверное, больше тридцати лет. Познакомились в столовой и как прилипли друг к дружке. А раньше тётя Оля с нами ходила, и мама говорила, что с ней веселее. Тётя Оля и вправду весёлая, рассказывала мне про тающую на солнце рыбку голомянку, про железную трубку — если бросить её в озеро, вода сплющит железо в лепёшку. А озеро называется Байкал, и оно такое глубокое, что дна не увидишь. Красивое имя, прохладное. Окунёшь ногу в воду — сразу замерзаешь, целиком.

По берегу мы ходили все вместе и по огромным камням, как ящерицы, скакали. И тётя Оля притворялась, будто она космонавт, и кричала маме: «Чайка! Чайка! Я Байкал!» И хотала. А мама поднимала лицо к небу и говорила: «Ну чем не курорт». А потом мне подмигивала: «Следующим летом к морю поедem обязательно!» А я не хочу к морю, там жарко и надо есть побольше фруктов, а я их не люблю. Мне нравится Байкал, и я мечтаю поймать

волшебную рыбку, положить её на камушки и посмотреть, как она тает.

Тётя Оля всё плачет и плачет. Завтра она уезжает в Омск — я не знаю, где это, но мама говорит, что недалеко от нас. Наверное, усатый Андрей живет совсем в другом городе, не долететь до Омска, не доплыть и на поезде не доехать. Я представляю, как он собирает рюкзак, кутается в толстую куртку, как у поляника, прощается с женой и дочками и спешит к тётё Оле через поля и леса. А жена и дочки машут ему вслед платками.

У тётё Оли тоже дочка. А мужа нет — я слышала, как она говорила маме: «Нет и не надо мне добра такого».

Мне тётю Олю жалко, а Андрея нет. Он хмурий, ходит вокруг нас, не сидится ему. У него голубая рубашка, он очень высокий — даже страшно какой. А тётя Оля маленькая, и волосы у нее чёрные, блестящие.

Я сажусь на траву рядом с ней и прошу: «Тётя Оля, расскажи ещё про рыбку!» А она только головой мотает и плачет ещё громче.

Мама встаёт и сердито кивает Андрею: «Давай успокаивай уже, чего ходишь». А потом берёт меня за руку и ведёт по травянистому склону вниз, к камням и прозрачной воде. Там тропинка — по ней мы выйдем обратно к санаторию, пойдём на ужин, а потом снова гулять будем — бегать по треснувшим бетонным дорожкам, фотографироваться у разби-

того сухого фонтана, смотреть, как зажигаются жёлтые фонари.

Я иду медленно и всё время оглядываюсь. Андрей наконец-то обнимает Олю правильно — крепко-крепко, так, чтобы мокрое от слёз лицо спряталось в его рубашку.

— Мам, — говорю я, — я знаю, почему она плачет.

— Да? — мама с интересом смотрит на меня, — и почему же?

А я молчу и не могу объяснить, нет в голове подходящих слов. И мне тоже становится грустно — не так, как плачущей Оле, но похоже. Мне странно, почему им просто нельзя побыть здесь подольше? Ведь им хочется. И почему Андрею нельзя будет приехать в этот самый Омск и остаться там насовсем? И вообще, зачем это всё: билеты, автобусы, неприятные разговоры, когда у взрослых становятся такие твёрдые, упрямые лица. Ведь можно же всё решить так, чтобы всем стало хорошо и весело!..

Я держусь за мамину руку и больше не оглядываюсь — чего смотреть на них: сидят, обнявшись, и даже не шевелятся. И я думаю про тающую на солнце голомянку — Оля говорила, что жить она может только в холодной глубине, а если положить её на горячий камень — растает, как ледышка. И мне больше не хочется увидеть, как рыбка исчезает под солнечными лучами безо всякого звука и следа.

□

Ирина Викторовна ИВАСЬКОВА

родилась в Красноярске.

*Окончила Красноярский государственный университет,
факультет юриспруденции.*

Пишет прозу, стихи.

*Публиковалась в периодических изданиях,
в том числе в газете «Кубанский писатель», журнале «Север».*

*В 2014 году вошла в лонг-лист независимой премии «Дебют»
номинации «Малая проза» с подборкой рассказов.*

*В 2015 году получила Гран-при I Всероссийского
литературного фестиваля-конкурса «Поэзии прекрасный свет».*

*В 2017 году стала лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса
«Хрустальный родник».*

Член Союза писателей России.

Живет в Анапе.

